

Андреев Леонид Николаевич

В Сабурове

Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте оттеняемых узкой полоской синеватого леса.

Лет 12 тому назад пришел в Сабурово мужик Пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно поведи душевный разговор о жизни, сидя где-нибудь у залитом сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность Пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, с слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое являлось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую Парменом под чистой белой тряпочкой; припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости; щеки и подбородок были изборозжены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице; на их месте сиротливо торчали тонкие, бесцветные волосики: так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышаются обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые и поют, и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться: да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был Пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них, а когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи от роду не обидел, его не то чтобы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице: «Бог шельму метит».

Появился Пармен впервые в качестве работника у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал Пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и невидно, точно его и нет. Через три года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, т.е. разрываясь на три части, по количеству детей. Старшему, Гришке, было всего 11 лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди.

Подождав немного, Пармен попросил вдову отпустить его.

- Платить тебе нечем, какой я тебе работник, - заявил он коротко и резко.

Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем.

- Что я одна-то с ребятами поделаю, - заплакала она. - Не оставь ты меня, Еремеич, с малыми сиротами, будь им вместо отца... А я тебя по гроб твоей жизни не оставлю.

Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых, все так же тихо и безмолвно: одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимую свою рослую фигуру. Даже с Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызывать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных падениях, - у матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка: завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на

коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сопатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос, и куда он девался.

- Собака откусила, - шутил Пармен.

- Жучка? - спрашивала Санька, тараща глаза.

- Она самая.

Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы: Жучка не такая собака, чтобы откусить нос. Барбос-тот мог, но Жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого Барбоса; воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда Барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо. Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал; раз, проезжая лесом, хотел запеть, но, видно, и горло было у него испорчено: звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привилегией счастливых людей: вызывать к себе хорошее отношение. Его меньше чурались, и если продолжали звать «Безносом», то не ради насмешки или от злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачка, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобедимое нерасположение к Пармену. Говорливый со всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок-о-бок с Пелагеей. В этом взгляде была и ревность и пренебрежение к «Безносому», занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец, распоряжается, как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и прадеда.

- Воистину Господь послал нам Пармена Еремеича, - издали заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку.

Обыкновенно тот молча уходил, но когда и он и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал, возражать матери.

- Прожили бы и одни, - бурчал он. - Эка невидаль. Думает, - безносый, так всякое ему и уважение. Держи карман шире.

- Чистый ты, Гришка, змееныш, - говорила Пелагея.

Пармен, в противоположность былой мнительности, ставший доверчивым даже до легкомысленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий, уже семнадцатилетний здоровый малый, пришел домой особенно злой.

- Послушала бы, что люди-то говорят, - сказал он матери. - «У тебя, говорят, заместо отца Безносый». Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать. Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему «пора и честь знать». Пелагея возражала, но с каждым разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничанье Пармена. «И чего он тут в самделе? - думала она, глядя на чужую, отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня.

- Ишь колотит, кабудь и вправду мужик».

Митька, парень болезненный и ко всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата. Было это осенним вечером, в воскресенье. Пармен, благодумствуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался его нос, дома из экономии он снимал, и теперь лицо его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену, который пьет сейчас такой вкусный чай и так незаслуженно счастлив, размышляя о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день... Вошел Григорий, хмельной и решительный. «Эк подгулял парнюга, - усмехнулся Пармен. - Пушай: это он силу в себе

чувствует». Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка.

- Прокладываетесь? Чай, значит, распиваете. Так. А на какие-такие капиталы?

Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его:

- А ежели скажем так: вот Бог, а вот и порог. По-жалте, как ваше здоровье?

В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку.

Григорий, пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай.

- Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем: пора и честь знать. А нам безносых не надоть. Пож-жалте! Пофорсили - и будет. А вот, ежели угодно... раз! - Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его на пол.- Два! - За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки. - Три! Четыре! - Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи.

- Ты что же это, пьяница, делаешь? - заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена.

- А вы, маинька, не суйтесь. Ваше дело бабье, а ежели желаете, то вот... Семь! - Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку.

- Что ж это, ничего, - бормотал Пармен: - это правильно. Волчанка съела. Я уйду.

- Да плюнь ты на него непутевого, - причитала Пелагея. - Ишь, буркалы-то налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная!.. - Восемь! - считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая. - Двенадцать!..

Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: «Голова моя горькая»; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя Безносый уходит.

- А с кем я у поле поеду! - вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.

В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.

Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех, пор по ночам часто бредил он вокруг темной хаты. Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно.

Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая, - это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того, как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегла проезжая дорога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные

окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.

Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение: «Христос воскрес из мертвых»...

Сгрудившаяся в притворе, толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.

- Это в Измалкове звонят, - сказал один из, мужиков, прислушиваясь. - Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет...

И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви... И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.

- Эх, - вздохнул мужик полной грудью. - Простору-то, простору-то и-и...

Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговялться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село. В Сабурове улицы были пустынные и темные, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка.

Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопылив руки и покачиваясь, он запел:

*А-ах, Прости-прощай, ты кра-са-внца,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца.*

Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:

- Христос воскресе, Пармен Еремеевич.

- Воистину воскресе, Митрофан Панкратыч.

Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались. Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:

- Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того-выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью...

Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.

Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.

Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками, с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль с слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку, не замечая,

как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.

- Цыц! Назад! - крикнул Григорий, но Жучка не шла.

- Аль там кто есть? Мить, ты?

Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.

- Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!

Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.

- Ты чего же здесь прячешься ночью? а?

Пармен молчал.

- А, так ты вот как! - схватил его Григорий за ворот и закричал:

- Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.

Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.

- А, поджигатель! - заорал Григорий. - Вот он твой благодетель-то, гляди! - крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.

Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.

- Да что ты! - заговорил наконец Пармен. - Нешто я могу. Опамятовайся, Бог с тобой.

- Еще поговори, гунявый!

- Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.

Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду. Митрий лениво вступился:

- Пусти его, Григорий! Пушай идет.

- Головушка моя горькая! - запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.

- Ну, так и быть, в последний раз, - отпустил Григорий ворот Парменова полушубка.

- Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!

Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:

- Про...щайте.

Сгорбившийся, как будто на его ворота все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина, - только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолично завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая, последние слова:

- Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..

Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот. Рядом с Санькой бежала вприпрыжку, куцая Жучка. Подлетев к Пармену, Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:

- На.

- Что ты, Сашута? - наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание! - Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:

- Тебе.

- Куда ты бежишь-то, стрекоза? - недоумевал все более Пармен.

- Дядя Безносый, пирог, - разрешилась наконец Санька, из благоразумной предосторожности не останавливаясь на знаках препинания. Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Парменом, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала, а теперь кто даст?

- Ешь, - протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедленное осуществление своих планов. - Чего же ты не ешь?

Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел не отрываясь на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный.

«Вот чудак-то: есть не хочет, - думала с недоверием Жучка, косясь на пирог и легонько подрягивая задней ногой: - а я бы съела».

- Ну, ешь,- просила Санька.

Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей рубцеватой, шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый - плачет.

- Чего ты? Не плачь, - прошептала Санька. - Не плачь, - сурово продолжала она, не получая ответа. - А то и я зареву.

Пармен знал, что значит, когда Санька ревет, - значило это разбудить всю деревню, - и прошептал, целуя большие влажные глаза:

- Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я, пройдет. Не забыла, вспомнила. - И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена. - Обидели меня, Сашута. Да что ты, голубка? Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загнула:

- У-у... Гришка... Злю-ка-а!

- Ну, что ты, Сашута, - спрашивал ее Пармен.

- Разбо-й-ник, - продолжала непримиримая девица. Со двора Гнедых послышался зов: «Саньк-а-а-а!»

- Не пойду-у,-гудела Санька, несколько понизив тон.

Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил Саньку наземь и, суетливо крестя ее, шептал:

- Иди с Богом, девочка моя милая, иди, а то matka осерчает.

- Пуца-ай, не бою-у-сь.

- Иди, милая, иди.

Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог - и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту во двора Гнедых послышался сердитый крик Пелагеи.

Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река. Воды за ночь прибыло. И вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река. Небо из серого стало белым, потом поглубело, а Пармен все сидел. И тосковал глубоко.